

ДЕНИС ГРОМОВ



САПЁР

КРОТ КУРСКОЙ ДУГИ

★ КНИГА 1 ★

Денис Громов

Сапер. Крот Курской дуги

«Тайниковский»

2026

Громов Д.

Сапер. Крот Курской дуги / Д. Громов — «Тайниковский», 2026

Сапёр из нашего времени приходит в себя в июне 1943 года — в теле молодого красноармейца, которого с маршевым пополнением отправили под Курск. Вокруг подготовка к главной битве войны: ночные минные поля, тысячи мин за смену, поля, которых никто не записывает. Батальон теряет людей не от вражеского огня, а на собственной работе. У него нет ни техники, ни времени, зато есть опыт, методика и умение видеть то, чего не видят другие. Он превращает работу сапёра из смертельной лотереи в точный расчёт. Немцы называют его Кротом.

Содержание

Пролог	5
Глава 1	8
Глава 2	17
Глава 4	27
Глава 5	38
Конец ознакомительного фрагмента.	42

Сапер. Крот Курской дуги

Пролог

Дождь начался ещё затемно и шёл не переставая - мелкий, нудный, октябрьский. За четыре часа промокло всё. Улица бывшего частного сектора лежала передо мной, как открытая книга разрушения - заборы через один, яблони с неубранными плодами, детская коляска на сетке-рабице, заброшенная туда взрывной волной. Пахло мокрой глиной, гнилыми яблоками и холодной гарью. А ещё тем сладковатым запахом, от которого сводило желудок.

- Стой, - негромко произнес я.

Ромка застыл на полушаге, нога зависла над битым кирпичом. Молодец. Хотя что-то из моих слов до него дошло.

- Что там, Сергей Владимирович?

- погоди, разбираюсь. Ты пока стой, где стоишь, и не оглядывайся.

Я присел на корточки. В грязи, прямо по центру улицы, торчала растяжка - тонкая проволока, натянутая между двумя осколками кирпича. Классика. Мина под ней или чуть в стороне.

Ромке двадцать три года. Год назад он учился на автомеханика, копил на "Приору" и смешно рассказывал, как перебирал коробку передач у соседа. Теперь он таскал за мной сумку с инструментом и планшет с картой. И у него уже почти не тряслись руки, когда рядом прилетало.

Почти.

Вот это "почти" меня и беспокоило больше всего. Потому что первый месяц человек боится решительно всего подряд - и поэтому живой. А на второй год он перестаёт бояться вообще - и поэтому нет. Между этими двумя состояниями лежит узенькая полоска, на которой человек боится правильно. Задержаться на этой полоске удаётся немногим. Я на ней третий год и держусь зубами.

Чем? Я не знал и сам.

- Сергей Владимирович, а если б я на неё наступил?

- Ни на что бы ты не наступил. Она в двадцати сантиметрах от земли, ты б её ботинком сдвинул, и всё.

- А если б настоящая?

- А если б настоящая, - я поднялся, отряхивая глину. - Ты бы не успел подумать "а если б". Поэтому думать надо до, а не после. Пошли дальше.

Мы прошли ещё метров двадцать. Я проверял шупом каждый сантиметр дороги, отмечал на планшете, Ромка за мной тащил сумку и старался дышать ровно.

- Стоп. Вот здесь.

Под слоем грязи лежала противопехотная мина ПМН-2. Пластиковая коробочка размером с пачку сигарет, почти невидимая металлоискателем. Именно поэтому и приходилось ползать на пузе со шупом.

- Ромка, иди сюда. По моему следу иди, ногу ставь ровно туда, куда я ставил.

Он подошёл, присел рядом.

- Запоминай. Сначала обходим вокруг. Проверяем, нет ли рядом второй, нет ли сюрпризов. Потом аккуратно снимаем грунт. Пальцами, не ножом. Чувствуешь проволоку - останавливаешься. Видишь?

- Вижу.

Я работал быстро, но без суеты. Открыл корпус, нашёл взрыватель, обезвредил. Через пять минут мина лежала в сумке, обёрнутая тряпкой.

- Чисто, - доложил я в эфир и обернулся. - Дальше пошли.

Мы дошли до конца улицы. Там стояли остатки двухэтажного дома. Вернее, то, что от него осталось - стены до второго этажа, чёрные дыры окон, куча мусора во дворе.

- Проверим? - спросил Ромка.

- Проверим. Тут вроде как техника должна была пройти, а командир сказал - сначала саперы.

Мы вошли в дом. Первый этаж был пуст - осколки мебели, разбитая посуда, детские игрушки в углу. На стене фотография - семья на море, улыбаются.

Я отвернулся.

- Сергей Владимирович, тут подвал есть, - позвал Ромка.

Я подошёл. Люк в полу, открыт. Из темноты тянуло сыростью и ещё чем-то. Я знал этот запах.

- Ромка, стой наверху. Я сам схожу.

- Но...

- Сказал - стой наверху.

Я включил фонарь и спустился по скользким ступеням. Подвал был небольшой - метра четыре на четыре. Банки с соленьями на полках, мешки с чем-то в углу. И у дальней стены - тело.

Мужчина, лет пятидесяти. Гражданский. Лежал на боку, прислонившись к стене. Рядом пустая бутылка из-под воды. Я посветил ближе - никаких ран, никакой крови. Просто сидел тут, в темноте, и умер. От холода, от болезни, от страха - неважно.

Я выдохнул и пошёл наверх.

- Что там? - спросил Ромка, глядя на моё лицо.

- Гражданский. Мёртв. Вызывай группу, пусть заберут.

Ромка кивнул и полез за рацией. Я вышел на улицу, достал сигарету. Руки не дрожали. Уже не дрожали. Третий год не дрожат.

Не знаю, хорошо это или плохо.

Мы вернулись на дорогу. Рация трещала, командир приказал двигаться дальше - надо было проверить ещё три улицы до темноты.

- Пошли, - сказал я и сделал шаг.

Земля под ногой просела.

Всего на миллиметр. Но я почувствовал. В голове мелькнуло: "Вторая. Нажимная. Пропустил."

Я замер.

- Ромка, - сказал я очень тихо. - Отходи назад. Медленно. По своим следам.

- Сергей Владимирович, что...

- Делай, что говорю. И ни слова в эфир, пока не отойдёшь на двадцать метров.

Я слышал, как он пятится, стараясь не торопиться. Хороший парень. Научится, если выживет.

Я стоял неподвижно. Под левой ногой - мина. Нажимного действия. Чуть ослабишь давление - взорвётся. Классическая ловушка: первую видно, вторую - нет.

Надо было думать.

Можно попробовать зафиксировать грузом и убрать ногу. Но чем фиксировать? Рюкзак остался у Ромки. Можно попытаться разрядить на месте - согнуться, найти корпус, вскрыть. Но если там растяжка на второй взрыватель, то даже прикосновение...

- Сергей Владимирович, я отошёл, - голос Ромки в наушнике. - Что мне делать?

- Зови сапёров. Говори - нажимная мина, нужен комплект для разминирования.

- Поняли. Вызываю.

Я стоял и смотрел на дождь. Он лил и лил, барабанил по каске, стекал за воротник. Холодный, октябрьский, бесконечный.

Я думал о Полине. О том, как она смеялась. О том, как собирала чемодан перед отъездом и спросила: "Вернёшься?" А я ответил: "Конечно вернусь." И не вернулся. Потому что когда вернулся - её там уже не было. Она уехала, не дождавшись.

Может, оно и правильно.

Может, так и надо.

- Сергей Владимирович, сапёры выдвигаются. Будут через сорок минут, - доложил Ромка.

- Хорошо. Стой, где стоишь, не подходи.

Сорок минут. Много это или мало? Я не знал. Нога уже начинала неметь.

А дождь всё лил.

Прошло, наверное, минут двадцать. Может, тридцать. Я считал капли дождя. Потом считать надоело.

Тогда я услышал звук.

Тихий такой. Щелчок.

И понял, что это конец.

Я успел подумать: "Ну вот. Значит, так."

И земля взорвалась.

* * *

Очнулся я от боли. Острой, жгучей, пронзающей всё тело. Открыл глаза - надо мной небо, серое, дождливое. Дождь падает на лицо.

Я попытался пошевелиться - и закричал. Левого ноги не было. Вернее, была, но от колена вниз - только тряпки и кровь.

- Сергей Владимирович! - где-то рядом завопил Ромка. - Держитесь! Я... я помощь вызвал!

Он возился рядом, что-то делал. Накладывал жгут, наверное. Молодец, парень. Не растерялся.

Я хотел что-то сказать, но из горла вырвался только хрип.

Потом стало темно.

Первое что я ощутил - запах дыма, что было странно, ведь буквально несколько секунд назад его не было.

Что происходит, - успел подумать я, когда кто-то тряхнул меня за плечо. А затем еще раз и еще. Тряс зло, грубо и без всякой жалости.

Веки были как будто чужие и очень тяжелые.

- Живой? Живо-ой, тебя спрашиваю!? Ох ты, господи, ну что ты будешь делать, а? Ну вот скажи мне, что с тобой делать?!

Голос был мальчишеский, ломкий, с петухом на верхней ноте. И говорил его хозяин не в наушник, а прямо мне в лицо.

- Триста, - попытался выговорить я. - Я триста...

Губы не послушались.

- Ковалёв! - заорал голос и потрянул так, что зубы клацнули друг о друга. - Ковалёв, вставай, мать честная! Ну вставай же ты, окаянный! Немец пристрелялся, сейчас накроет, сейчас как даст - и оба тут ляжем!

Глава 1

Я не особо понимал, что происходит, но первое что я сделал, это начал считать.

Не думать, не пугаться, не открывать глаза.

Считать.

Между разрывами выходило секунд восемь, и цифра эта была совсем плохая. Восемь секунд - не заградительный огонь по площадям, когда лупят наугад и лишь бы куда-то попасть, поливая квадрат за квадратом. Восемь секунд - это когда работают неторопливо, размеренно, по чьей-то команде, с корректировкой и с полным пониманием, куда именно кладут.

- Лежи! - заорали мне в самое ухо и придавили сверху локтем так, что рёбра хрустнули.

- Лежи, дурень, не подымайся ты! Куда полез?!

Я и лежал.

Земля под щекой была тёплая и колючая. Не мягкая пашня, не луговина - жнивье, а сухое, выбритое серпом под самый корень и с торчащими из грунта твёрдыми обрезками стеблей. Они лезли за воротник и кололи шею.

От каждого прилёта земля коротко была снизу в грудную клетку. Не трясла, а именно была - снизу вверх, большой раскрытой ладонью, и после каждого удара сверху сыпалась мелкая сухая пыль, набивалась в нос и хрустела на зубах.

Свистнуло протяжно и с подвывом.

Ударило дальше. Метрах в семидесяти и заметно левее.

Потом ещё раз, ещё левее. Потом совсем далеко.

Ушли.

- Всё, - выговорил я, отплёвываясь от земли. - Отработали. Дальше пошли.

- Чего-о?

- Ушли, говорю, - добавил я, ощущая странное чувство.

Кто ушел? Куда? Откуда я вообще, все это знаю?

Локоть с моей спины, тем временем, никуда не делся, а наоборот, придавил ещё крепче.

- Ты лежи, лежи, не рассуждай. Ты его не знай, а я знаю. Он всегда обратно возвращается, паразит. Он покидает-покидает в одну сторону, ты уж и подынешься, и отряхнёшься, и обрадуешься, что живой, - а он тебе тут и добавит по второму разу, аккуратно когда ты стоишь во весь рост и глазами хлопаешь. У нас так Кольку Мохова прибрало, аккуратно на прошлой неделе, в четверг. Тоже встать надумал, тоже, дескать, кончилось. Мы его в четверг и закопали, а в пятницу письмо ему пришло, из дому.

Этот голос я уже слышал.

Я вспомнил его. Совсем недавно он звал меня чужой фамилией.

Я открыл глаза.

Прямо перед лицом, сантиметрах в тридцати, торчала из земли гильза. Большая, латунная, потемневшая до зелени, вбитая в грунт по самую половину, как гвоздь. На донце виднелось клеймо - цифры и какая-то звёздочка.

Это первое, что я увидел.

А рядом с гильзой лежала моя рука.

И она была не моей.

Худая. Белая, как у человека, который всю жизнь провёл под крышей. С обкусанными до мяса ногтями и грязью, забитой под них наглухо, в несколько слоёв. На тыльной стороне - красноватый след от солнца, какой бывает у тех, кто всю жизнь ходил в рубаше с длинным рукавом и вдруг начал их закатывать.

Ни одного шрама. Ни единой мозоли на тех местах, где у меня они были с двадцати двух лет: на подушечке под указательным, на ребре ладони, на среднем суставе большого.

Я смотрел на эту руку долго и внимательно, как смотрят на чужую фотографию в чужом альбоме.

Она шевелилась, когда я хотел, а это значило...

- Ковалёв, ты чего? Ковалёв! Ты чего замолчал-то? - от размышлений меня оторвал все тот-же мальчишеский голос.

- Ничего, - отозвался я.

Голос тоже был не мой. Выше на полтона, тоньше, и какой-то...

Сложно было подобрать нужное описание.

Голос был таким, будто у человека он сломался года три назад и до сих пор все не устоялся.

Я перевернулся на спину.

Небо было чистое, высокое, июньское, с редкими белыми облаками по краям - из тех облаков, что стоят на месте целый день и никуда не собираются. В нём, довольно низко, трепыхался жаворонок. Обыкновенный жаворонок, который заливался себе как ни в чём не бывало, будто и не было тут только что никакого обстрела и будто вообще ничего не было.

Правее по небу медленно расползались три чёрных мохнатых куста дыма.

Надо мной наклонилось лицо.

Мальчишка. Лет восемнадцати, не больше. Курносый, с облупившимся до розового мяса носом, с белыми, выгоревшими добела бровями и такими же ресницами. Пилотка была сбита набок и держалась на честном слове и на оттопыренном ухе. Гимнастёрка застёгнута под самое горло - не на две пуговицы, как все носят по такой жаре, а под горло, аккуратненько, будто собирался идти сниматься на фотографию.

И на плечах у него были погоны.

Полевые, зелёные, без единого знака. Но погоны.

- Ты головой не стукнулся? - спросил он озабоченно, заглядывая мне то в один зрачок, то в другой, и от усердия высунув кончик языка. - Ты гляди-то как чудно. Прямо страшно делается, аж мураши по спине. У нас так Мохов глядел, когда его в мае засыпало, - вот точно так же, и потом три дня заикался.

- Какое сегодня число? - спросил я.

Мальчишка моргнул.

- Ну ты даёшь, Петь, - протянул он растерянно. - Четырнадцатое.

- Месяц какой?

- Июнь. Июнь месяц, ты чего? Мы ж вчера с тобой ещё про Петров день говорили, ты говорил, у вас в Каменке в Петров день гуляют.

- Год.

Он сел на пятки.

И посмотрел на меня уже совсем иначе - с той осторожной жалостью, с какой смотрят на человека, которому только что крепко приложило и с которым непонятно, что теперь делать: тащить в санчасть на плечах или сперва подождать, вдруг само отойдёт.

- Сорок третий, - выговорил он тихо и медленно, как говорят с глухими и с малыми детьми. - Тыща девятьсот сорок третий, Петя. Ты лежи, ты не вставай покамест. Я счас старшину поκληчу, он тут недалеко, он у повозки был. Он придёт, он знает, чего делать, он в финскую всяких видал.

- Не надо старшину.

- Надо, надо! Ты лежи, я мигом, я сбегаю.

- погоди. - Я поймал его за рукав.

Рукав был колючий, суконный, тяжёлый, вытертый на локте до блеска и пропахший насквозь: потом, махоркой, дымом, ружейным маслом и чем-то кисло-хлебным, вроде опары.

Мальчишка испугался всерьёз - я это увидел по тому, как у него дёрнулась щека и как он сглотнул.

- Как тебя зовут? - спросил я.

- Гриша я, - выговорил он. - Соловьёв. Григорий Соловьёв, я ж... Петь, ты чего? Мы ж с тобой третью неделю вместе, мы ж с одного эшелона приехали, ты ж мне свою краюху отдавал, когда меня укачало!

- А меня как?

- А ты Петька. Ковалёв Петька, из-под Ельца. - Он вцепился мне в плечо обеими руками.

- Ты правда не помнишь? Или дуришь? Петь, ты не дури, я ж перепугаюсь.

- Хорошо, - выговорил я. - Хорошо, - добавил я и засмеялся.

Этого было нельзя - я это отлично понимал даже тогда, - но остановиться не мог секунд десять. Меня трясло, в горле булькало, из глаз текли слезы, и Гриша сидел рядом на корточках, держал меня за плечо и глядел с таким лицом, будто уже прикидывал, как потащит и в какую сторону.

- Ну ты чего, - приговаривал он. - Ну ты чего, Петь. Ты не смейся так-то, а? Мне аж не по себе делается. Ты лучше поплачь, ежели надо, я никому не скажу, у нас тут все плачут, кто по-тихому, кто как. Только не смейся.

Вскоре меня отпустило.

Я сел и с минуту сидел, привыкая к тому, что голова у меня теперь на другой высоте от земли.

А потом стал по частям осматривать то, во что меня одели.

Ботинки - грубые, разбитые, с толстой подошвой, подбитой гвоздями по кругу, в засохшей серой грязи. Обмотки, намотанные криво, с провисом; левая уже съезжала гармошкой на голенище.

Я попробовал перемотать.

Смотал - и понял, что не знаю, как это делается. То есть представление имел, а руки не знали. Лента шла косо, где-то стягивала, где-то болталась, и через полминуты у меня получилось нечто такое, что Гриша даже перестал сопеть.

- Дай-кось, - не выдержал он и отобрал ленту. - Ты чего это? Ты ж третьего дня меня учил, ты ж говорил, у вас в деревне все умеют. Смотри: снизу вверх и с натягом, а верхний оборот подворотом - вот так, вот так. И конец не под низ, а сюда, за складку. Ты чего, и это забыл?

- Забыл.

- Ох ты, - охнул он и принялся мотать сам, ловко, в четыре оборота, приговаривая себе под нос что-то про то, что этого и быть не может.

Гимнастёрка на мне была вылинявшая, с соляными разводами под мышками и с заплатой на локте, посаженной крупными неровными стежками - чинил кто-то сам, без напёрстка. Ремень с простой одинарной пряжкой, затянутый на последнюю дырку и всё равно свободный, так что приходилось поддёргивать.

Рядом на земле лежала винтовка.

Я узнал её сразу, потому что такую же держал в руках ровно один раз в жизни - в музее, на экскурсии, куда нас водили от части. Мне тогда сказали: «Только осторожнее, она тяжёлая, все удивляются».

Она и правда была тяжёлая. Я приподнял её одной рукой и чуть не выронил.

Я расстегнул нагрудный карман.

Внутри лежала фотография - маленькая, обрезанная ножницами по краю неровно, чуть согнутая пополам и оттого потёртая на сгибе до белого. Девочка лет пятнадцати в белой кофте, с двумя бантами и заплетёнными на ночь косичками, смотрит в объектив с той натужной каменной серьёзностью, с какой снимались тогда решительно все, будто фотограф им не улыбаться велел, а стоять по стойке смирно.

На обороте карандашом, крупно, с нажимом: «Пете от Нюры».

И книжка. Красноармейская, потёртая на сгибе, с растрёпанным уголком и с расплывшейся печатью.

Ковалёв Пётр Никифорович. Тысяча девятьсот двадцать четвёртого года рождения.

Двадцать четвёртого.

Девятнадцать лет.

А мне было тридцать четыре. Часа три назад. Или сколько там прошло? Я понятия не имел и до сих пор не знал.

Во рту стояла такая сушь, что язык не поворачивался.

- Гриш. Попить есть?

- А то! - Он обрадовался тому, что от него наконец потребовалось что-то простое, и сдёрнул с ремня фляжку. - Пей, только не всю, нам до вечера ещё. Она тёплая, ты не побрезгуй, у нас из ручья, а ручей вон за той рощей, и туда днём не ходят.

Вода была тёплая, отдавала жестью и чем-то болотным. Я выпил половину и вернул.

- Гриш.

- А?

- А мы кто?

Он вздохнул так тяжело и обречённо, как вздыхают над совсем уж безнадёжным больным.

- Двести тридцать пятый отдельный сапёрный батальон, - выговорил он по слогам. - Второй взвод, отделение сержанта Гурьева. Командир батальона - майор Зотов, он строгий, ты его один раз видал, он на подводе приезжал. Взводный - лейтенант Бабичев, молодой, злой, у него глаз дёргается. Старшина - Панкратов Ерофей Ильич, вот его-то я и хотел кликнуть, а ты не даёшь.

Он перевёл дух и посмотрел на меня с надеждой.

- Ну? Вспомнил?

- Не вспомнил.

- Ох ты, беда какая. - Он поскрёб под пилоткой. - А тётку в Ливнах помнишь? Ты ж мне сам говорил, что у тебя в Ливнах тётка и что она письмо не отвечает и ты на неё серчаешь.

- Не помню.

- А что ты мамке писал, что кормят хорошо, а на самом деле пшёнka одна?

- Не помню, Гриш.

Он несколько секунд молчал, а потом поднялся.

- Я сейчас вернусь! - произнес он и убежал.

Я проводил его взглядом и задумался.

Сапёрный, значит...

Я сидел на жнивье, в чужом теле, в чужой стране, которой ещё не было и уже не было, держал в руках чужую фотографию чужой сестры...

Саперный, - снова всплыло это слово в моем сознании. Но как так могло получиться. Я же...

- Кова-алёв! - от размышлений меня отвлек чей-то голос.

Через поле шёл человек.

Шёл он не быстро и не медленно, а той особенной ровной тяжёлой походкой, которая набирается не за год и не за два, а лет за двадцать хождения по стройкам, полигонам и карьерам. Так ходят люди, которые точно знают, что дойдут, и не видят никакого смысла суетиться по дороге.

Немолодой. Кряжистый, широкий в плечах и с короткими ногами. Пилотка в руке, а лысина мокрая и блестела на солнце.

На погонах - широкая продольная лычка.

Это, скорее всего и был тот старшина, за которым убежал Гриша.

Я принял вертикальное положение. Тело послушалось плохо: колени были ватные, а в затылке от резкого движения загудело и качнуло в сторону, так что пришлось переступить.

- Ну и? - Старшина остановился шагах в пяти и оглядел нас обоих. - Живой?

- Живой.

- Оглох?

- Нет, - покачал я головой.

Он подошёл вплотную, надел пилотку, обстоятельно поправил её двумя пальцами и оглядел меня снизу вверх. Он был на голову ниже, поэтому смотрел задирая подбородок.

Глаза у него оказались светлые, почти выпавшие до бела, и очень внимательные.

- Значит, так, - начал он ровным скучным голосом, каким читают приказы по строевой части. - Соловьёв мне докладывает: Ковалёва накрыло, Ковалёв не в себе, Ковалёв, дескать, ничего не помнит и вдобавок смеётся. Я иду. Иду, между прочим, через всё поле, по такой жаре, а мне пятьдесят второй год, у меня спина.

Он побряхтел и потёр поясницу для наглядности.

- Ковалёв у меня третью неделю числится. Третью. И за эти три недели я от него слышал ровно четыре слова, и все четыре были «так точно». Я уж думал: то ли смиренный, то ли пришибленный от природы. А теперь, стало быть, он у нас смеётся.

Он покачал головой и вздохнул.

- Ходят тут, - продолжил старшина, обращаясь куда-то в пространство, поверх моей головы. - Которые контуженные. А старшина за них перед батальоном отвечает. Старшине и щупы считать, и лопаты считать, и людей считать, и чтоб каждый на месте, и чтоб никто не помер не вовремя и не там, где не положено. У меня, промежду прочим, к вечеру ведомость сдавать, а у меня в ведомости уже двух душ недостаёт, и что я в графу впишу?

Он снова посмотрел на меня.

- Панкратов моя фамилия, - обронил он вдруг совсем другим тоном, будто выключил один голос и включил второй. - Ерофей Ильич. Ты, я гляжу, и это забыл.

- Забыл, товарищ старшина.

- Оно и видать. Ну, пошли, чего стоять-то.

Он повернулся и пошёл, не оглядываясь.

Мы двинулись следом - Гриша справа, чуть отставая и всё время оборачиваясь на меня, будто проверял, не отстал ли я.

Идти было метров сорок, вверх по едва заметному склону, и всю дорогу под ногами трещало и хрустело: сухая земля, стерня, ломкий прошлогодний бурьян по краям поля.

Пахло горячей пылью, пылью и порохом.

Кузнечики стрекотали как оглашенные, наперебой, - обстрел их, судя по всему, несколько не смутил и не расстроил.

Справа, за жиденькими кустами, виднелась деревня. Точнее, то, что от неё осталось. Труб я насчитал восемь, а целых крыш - одну, и та была крыта соломой, и на ней сидели голуби.

У той единственной крыши хлопотала баба в тёмном платке. Она развешивала на плетне бельё - и, увидав нас, разогнулась и долго смотрела, приложив ладонь ко лбу.

- Наши стоят у ней в хате, - пояснил Гриша, поймав мой взгляд. - Санчасть там и писарь. А сама она с ребятишками в погребе живёт, в своём же. Её Дарьей Егоровной звать. Она нам молоко носила, покамест корову не свели.

- Кто свёл?

- Дык не наши, ты чего! - он аж обиделся за всех сразу. - Немец свёл, ещё в феврале. У ней от коровы одна верёвка осталась, она её на плетне держит и не снимает. Я спрашивал зачем, а она говорит: пущай висит.

- Ерофей Ильич, - окликнул Гриша сзади. - А это чего было-то, а? С чего он взялся-то? Он же с утра молчал.

- Пристрелка это была, - не оборачиваясь, отозвался Панкратов. - Он реперы бьёт. Оно, брат, у них всё по науке: сперва точки набьёт, запишет, а потом уже, когда надо будет, ему и наводить не придётся, он по записанному положит.

- А когда надо будет?

- А вот это, Соловьёв, ты у него сам спроси. Он ни тебе ни мне не докладывает.

В неглубокой воронке лежали двое.

Я увидел их раньше, чем понял, что именно я вижу.

Так всегда бывает. Сначала глаз ловит неправильную геометрию - что-то лежит не так, как лежат живые люди, и даже не так, как лежат спящие. У живого тела есть логика: оно сложено само собой, оно улеглось, оно устроилось поудобнее. А тут логики никакой не было.

Гриша отвернулся и стал смотреть в сторону, на рошу, и очень внимательно её изучать.

А я подошёл.

И присел.

Не из храбрости. Просто ноги сами понесли, а руки сами полезли расстёгивать несуществующий подсумок с фотоаппаратом. За три года это делалось механически.

Я начал осматриваться.

Воронка была маленькая. Слишком маленькая для того, что прилетало сюда десять минут назад: те клали серьёзно, от тех воронки были в рост человека и с рваными вывернутыми краями.

А у этой края были неправильные.

Плоские. Сглаженные. Грунт выброшен низко и широко, ровным венчиком, будто под землёй лопнул большой пузырь и его накрыло собственной землёй.

Обоих положило внутрь. Головами наружу.

- Это не обстрел, товарищ старшина.

Панкратов, отошедший уже шагов на десять, но остановился и медленно повернулся.

- Чего-о?

- Это не обстрел, товарищ старшина. Их не накрыло сверху. Они на своё сели.

Стало очень тихо.

Даже кузнечики, как мне тогда показалось, разом заткнулись, хотя разумеется, никуда они не делись.

Панкратов вернулся. Не спеша, всё той же походкой. Присел рядом со мной на корточки - тяжело, придерживаясь рукой за колено и побряхтывая.

На несколько секунд он замер в таком положении, а затем посмотрел на плоские края. На венчик выброшенного грунта. Потом на лежащих. Потом на меня.

И взгляд у него был долгий, ровный, совершенно ничего не выражающий. Так смотрят на человека, которого видят впервые в жизни, хотя знают его три недели.

- А ты откуда знаешь? - спросил он тихо.

Я открыл рот и хотел было все ему рассказать, но не стал.

Потому что сказать мне ему было нечего. Совсем. Ни единого слова, которое можно произнести вслух в этом поле и в этом теле.

- Та-ак, - протянул Панкратов. - Яс-сно.

Он поднялся, отряхнул колени ладонями - сперва одно, потом другое, - и вдруг гаркнул так, что Гриша в десяти шагах подпрыгнул на месте:

- Соловьёв! Ты чего встал, как засватанный?! Бегом к сержанту Гурьеву, доложишь: двое двухсотых, я подойду, пушай носилки шлёт и пушай Митрофанова с собой берёт, он в этом деле привычный! Ну?! Живо, я сказал, а не через час!

Гриша сорвался и побежал, спотыкаясь о стерню и подхватывая на бегу винтовку.

Мы остались вдвоём.

Панкратов достал кисет - старый, тёртый, с вышитым по краю красной ниткой уголком, - и стал сворачивать самокрутку. Делал он это долго и обстоятельно: разгладил бумажку на колене ногтем большого пальца, отсыпал, подровнял, скрутил, лизнул край и прижал.

Прикурил от спички, прикрывая ладонью, хотя ветра не было ни малейшего, а затем заговорил, глядя не на меня, а поверх поля, куда-то в сторону дальней рощи.

- Оно, конечно, дело такое, - начал он задумчиво. - Человека накроет, он и не то ещё скажет. Я вон в сорок первом под Черниговом видал: мужик после контузии двое суток по-французски разговаривал. Складно так, будто читал. А сроду не учил, пастух пастухом, четыре класса и коридор. Потом отошёл - и обратно ни бельмеса, и сам ничего не помнит, и не верит, когда рассказывают.

Он затаился и выпустил дым в сторону, отмахнув рукой.

- Ты, Ковалёв, у меня три недели ящики таскаешь. Три недели, и всё молчком. Тебя Витюха-ефрейтор в первый же день носом в грязюку ткнул при всём взводе, за то, что ты ящик не так поставил и ты смолчал. Я тогда подумал: либо забитый, либо гордый. Я на всякий случай Витюху потом за угол отвёл и разъяснил ему кое-что, но это дело наше, тебя не касается.

Он помолчал, катая самокрутку в пальцах.

- А тут - на тебе. «Не обстрел».

- Товарищ старшина, я...

- Молчи, - отмахнулся он без всякой злости. - Молчать у тебя покамест лучше выходило. У тебя, парень, талант к молчанию, я такое сразу вижу.

И пошёл.

Я двинулся следом.

Дошли до опушки той самой рощи - жиденькой, из молодых берёз и осин, с густым подлеском по краю и с вытоптанной прогалиной внутри.

Там, под маскировочной сеткой, натянутой на кольях и заплетённой свежими ветками, стояла распряжённая лошадь - рыжая, костлявая, с ободраным левым боком и с репьями в хвосте. Она стояла, опустив голову, и от неё отгонял слепней ездовой. Пожилой мужичок в расстёгнутой гимнастёрке, с полотенцем на шее.

- Ерофей Ильич! - окликнул он, не переставая махать полотенцем. - Ерофей Ильич, ты глянь, чего с ней делается. Ты глянь, я тебя как человека прошу.

- А чего с ней?

- Не жрёт. Овса ей дал - не жрёт. Травы нарвал - понюхала и отвернулась. - Ездовой обошёл лошадь и заглянул ей в морду снизу, будто искал там ответ. - Она с утра, как он бить начал, так и стоит. Ей, Ерофей Ильич, тоже страшно, ты не думай, она понимает.

- Понимает, - согласился Панкратов и потрепал лошадь по шее. - Она, Кузьмич, поболее твоего понимает. Она ж слышит раньше нас минуты за две, я замечал.

- Так а чего делать-то?

- Постоит и отойдёт. Ты её не тереби, не суйся к ней с овсом. Дай ей побыть.

- Дык мне ж её вечером запрягать.

- Запряжешь. Она баба надёжная, она службу знает. - Старшина обернулся ко мне и мотнул головой. - Ковалёв, ты чего встал? Иди, погляди на неё. Тебе полезно.

Я подошёл.

Лошадь повернула ко мне голову - медленно, будто нехотя, - и посмотрела одним большим влажным глазом. В нем отражалась сетка, ветки и клочок неба.

- Гладь, - велел Кузьмич. - Гладь по шее, по левой, она левую любит. Она у нас Марфа. Она с сорок первого года при батальоне, она четырёх ездовых пережила.

Я погладил.

Шея была тёплая, шершавая, с прилипшими травинками, и под кожей ходила крупная жила.

- Вот, - удовлетворённо заметил ездовой. - Гляди, ухом повела. Стало быть, отходит. Рядом телега с задранными оглоблями. А дальше, в тени, штабель ящиков. Ящиков было много.

Я досчитал до сорока и бросил.

Возле штабеля на корточках сидели трое и что-то делали руками - быстро, привычно, не глядя, и вполголоса переругивались.

- ...да куда ты его пихаешь, косорукий? Ровнее клади.

- А куда его ровнее? Он и так ровно.

- Он у тебя набок съехал. Ты его на угол ставь, на угол, а не на пузо.

- Тебе не картошку возить, - вставил третий, не поднимая головы. - Тебе не картошку возить, Федя, тебе людям потом это на горбу тащить. Оно ежели набок сползёт, оно ж по всей телеге поедет.

- Дык не поедет.

- А поедет - старшина тебе такое устроит, что ты у меня картошку вспомнишь и заплачешь.

Один из троих поднял голову, увидел меня и осклабился.

Ефрейтор. Небольшой, вертлявый, с редкими рыжеватыми усиками и с той особенной весёлостью на лице, которая у некоторых людей означает, что сейчас кому-то будет неприятно.

- О-о, - протянул он с наслаждением. - Явился. Живой, стало быть. А я уж, грешным делом, обрадовался.

- Витюха, - не поворачиваясь, обронил Панкратов.

- А чего Витюха? Я ж по-доброму, - ефрейтор поднялся и вытер ладони о штаны. - Я ж говорю: живой человек - это ж радость. Особливо ежели он ящики носить умеет. А то у нас тут одни грамотные остались, а носить некому.

- Витюха, - повторил старшина ровно. - Ты помнишь, о чём мы с тобой за углом беседовали?

Ефрейтор мгновенно поскуchnел, сплюнул под ноги и присел обратно к ящикам.

- Помню, - буркнул он в доски.

- Ну и хорошо, что помнишь. Память - она вещь полезная.

Панкратов повернулся ко мне.

- Отдышался?

- Отдышался.

- Тогда бери. Ночью пойдём ставить, до утра надо две тыщи, а нас на весь взвод девятнадцать рыл, и из них четверо таких, что им лопату страшно доверить. - Он сплюнул. - Опять до света провозимся, опять комбат мне душу вынет и скажет, что старшина Панкратов службу забыл.

Он поддел носком сапога крышку ближнего ящика и приподнял её.

Внутри, в жёлтых сосновых опилках, ровными рядами лежали маленькие деревянные коробочки.

Штук двадцать. Простые, сколоченные из тонких дощечек, с проушиной сбоку и с торчащей наружу железной чекой на колечке.

Я стоял и смотрел на них.

Я знал про мины очень много.

Я знал, как к ним подходить и как от них уходить. Знал, что на пятый год работы главным твоим врагом становится не противник, а собственное спокойствие. Знал на ощупь, через полтора метра стали, разницу между кирпичом, корягой и корпусом. Знал, как отдаёт в кисть бетон - коротко и звонко. Как жёсть - сухо и мелко. Как пластик - мягко и тупо, будто ткнул в сырую резину, и от этого последнего ощущения у меня до сих пор сводит запястье, стоит только вспомнить.

Я знал, что делать с рукой, если она уже легла не туда.

А вот что именно лежало сейчас в этом ящике, в опилках, в двадцати сантиметрах от моего сапога, - я не знал.

Ничего.

- Ну? - Панкратов глядел на меня искоса, не убирая ноги с крышки. - Чего застыл? Али не признал старую знакомую?

- Не признал, товарищ старшина.

- И эту забыл, стало быть.

- И эту.

Он опустил крышку - тихо, придерживав, чтоб не хлопнула, - и постоял, разглядывая меня так, будто прикидывал вес.

- Ладно, - обронил он наконец. - Ладно, Ковалёв. Ты покамест ящики носи, а я погляжу.

- На что поглядите?

- На тебя, - отозвался Панкратов и пошёл к телеге.

Глава 2

Ужин привезли в девять, когда уже начало смеркаться.

Кухня стояла в балке за деревней, и оттуда её выкатывали к роще на руках, потому что Марфа была одна, а желающих много. Пахло от неё пшённым концентратом и подгоревшим салом, и запах этот шёл по роще так густо, что люди начинали переговариваться веселее ещё за пять минут до того, как её видели.

Очередь выстроилась сама, без всякой команды.

- Матвей Кузьмич, а ты со дна черпани! - тянул кто-то из середины. - Ты сверху-то не черпай, сверху одна вода.

- Я тебе счас со дна черпану, - беззлобно отзывался повар, одноногий дядька с подвязанным рукавом, и стучал черпаком по краю котла. - Я тебе так черпану, что ты у меня добавки до самого Берлина не увидишь. Подставляй котелок и не рассуждай. Вас двести рыл, а котёл один, а я тут не мамка вам.

- Дык обидно ж.

- Обидно, - согласился Матвей Кузьмич. - А ты меня пожалей, милоч. Я на этот котёл третий год гляжу и всё думаю, откуда в нём столько дна.

Мне досталась пшёнка, ложка сала сверху и полсухаря.

Я сел на бревно рядом с Гришей и стал есть, и вот тут меня накрыло второй раз за день. Уже не от руки и не от книжки, а от вкуса.

Потому что вкусно было по-настоящему.

Тело девятнадцатилетнего Петьки Ковалёва, которое я получил утром вместе с чужой фамилией, хотело есть так, как я не хотел уже лет пятнадцать. Оно радовалось этой пшёнке. Оно доскребло котелок до звона и облизало ложку.

- Ты не части, - заметил Гриша с полным ртом. - Ты жуй. У нас Данилюк торопился всё, торопился, а потом у него живот прихватило, и он ночь в кустах просидел, а мы за него норму делали.

Мимо, гремя котелком, прошёл боец и присел рядом на корточки.

- Соловьёв, дай сухарика. У меня свой сгрыз, а до утра далеко.

- Дык у меня полсухаря.

- Ну половину половины дай, чего ты.

Гриша, вздохнув, отломил и отдал.

- Спасибо, Гриша. Ты человек, - боец захрустел. - Слышь, а верно говорят, что нынче две тыщи?

- Верно.

- Ой-ё, - он перестал хрустеть. - Две тыщи на девятнадцать человек. Это ж по сто с лишком на рыло. Это ж мы до утра не то что не кончим, мы до утра не разогнёмся.

- Витюха говорит, надо.

- Витюха много чего говорит. Витюха вчера говорил, что нам табак выдадут, а где табак? - он поднялся, отряхнул колени. - Вот я и говорю: слушать надо не Витюху, а старшину. Старшина, ежели чего скажет, то скажет один раз и по делу.

Он ушёл, дожёвывая на ходу.

- Кто это? - спросил я.

- Митрофанов. Он у нас похоронами занимается, ему поручено. - Гриша поскрёб ложкой по дну. - Он потому и худой такой, что ему кусок в горло не идёт. Он у Матвея Кузьмича добавку берёт, а потом отдаёт кому-нибудь.

Построились в десять.

Лейтенанта Бабичева не было - он с вечера уехал в штаб батальона, и это, как я потом понял, случалось часто и означало, что взводом распоряжается старшина, а строит его ефрейтор Хлыстов, который такую возможность любил больше всего на свете.

- Разобрались, разобрались! - покрикивал он, помахивая подобранным где-то прутиком, как унтер розгой. - Не спим на ходу! Ящики берём по двое, не рвём жилы, а которые рвут - тем я потом лично поднесу! Молодые, я к вам обращаюсь! Ты, конопатый, чего лыбишься? Тебе смешно?

Конопатый не смеялся. Он шурился от дыма своей же самокрутки.

- До света всё поле должно стоять, - продолжал Витюха, шагая вдоль строя туда и обратно. - Всё понятно? Не половина, не сколько успеем, а всё. Комбат велел две тыщи, и комбат их получит, потому что иначе от комбата получу я, а думаете мне это надо? Поверьте, лучше вам всем от этого точно не станет!

- Витюх, а лошадь-то дадут? - подал голос кто-то из задних.

- Лошадь соседям отдали.

По строю прошёл долгий и очень выразительный вздох.

- Отдали, - с удовольствием подтвердил Хлыстов. - А знаете почему? Потому что у них ящики от дороги дальше, а у нас ближе. Так что ноги ваши - вот вам и лошадь. Разобрали!

Ящик весил килограммов двадцать.

По бокам верёвочные ручки, доски свежие, занозистые, ещё пахнувшие смолой и опилками. Я взял свой, Гриша - свой, и мы пошли следом за остальными: вниз по пологому склону, к жидкой полосе кустов, за которой начиналось поле.

Темнело быстро, как всегда темнеет в июне после долгих сумерек.

- Петь, - зашептал Гриша, поравнявшись со мной. - Ты гляди под ноги-то. Ты гляди хорошенько, ладно?

- Гляжу.

- Не, ты правда гляди, а не только говори. Тут третьего дня ставили. Левее вон, в той стороне.

Я остановился.

- Насколько левее?

- Ну... - Он мотнул головой в темноту, неопределённо, всей головой сразу. - Там где-то. Я точно не скажу, я ж не ставил, я подносил. Второй взвод ставил, а мы им ящики таскали, и таскали не туда, а с этого края, потому что там ложбина.

- Гриша, «там где-то» - это как?

- Дык а как ещё-то? - Он искренне удивился, даже приостановился. - Витюха дорогу знает, он завсегда впереди идёт. Мы за ним, и всё дело. Он тут третий месяц, он всё помнит.

Витюха шёл впереди метрах в двадцати, и дорогу он, судя по походке, знал превосходно.

Так превосходно, как знает её человек, который прошёл тут дважды, оба раза днём, и запомнил кривую берёзу на повороте.

- Гриш, а ежели Витюха ошибётся?

- Дык не ошибётся, - отозвался Гриша с полной уверенностью. - Он тут третий месяц.

- А третий месяц - это много?

Он задумался, и я услышал, как он сопит, соображая.

- У нас третий месяц - это старик, - выговорил он наконец. - У нас старше только старшина, Гурьев да Данилюк. Остальные все с мая да с апреля. А кто с зимы был, тех уже нету.

- Совсем нету?

- Двое есть. Один в санбате лежит, ему кисть оторвало, а второй в писарях сидит, ему ногу перебило, он теперь не ходок. - Гриша перехватил ящик. - Ты, Петь, ящик-то к себе прижми, не на вытянутых держи. На вытянутых руки быстро отваливаются, я в первую ночь так нёс, потом три дня ложку не держал.

Я прижал.

Ящик сразу стало легче нести, и я подумал, что за три недели чужой жизни этому меня уже учили и что Петька Ковалёв, вероятно, это знал.

Я перехватил ящик поудобнее, подтянул его выше, к самой груди, и пошёл след в след.

Ночь была хорошая.

Тёплая, тихая, с росой, которая уже начала садиться и холодила щиколотки над ботинками. Над полем стоял тот густой июньский дух, от которого дома, в мирной жизни, тянет сесть на крыльцо, закурить и никуда больше не идти до самого утра.

Пахло донником - сладко, тяжело, как разогретым мёдом. Пахло полынью, растёртой чьим-то сапогом. Пахло скошенной где-то травой, и от этого запаха всё вокруг становилось до оторопи мирным.

Далеко справа неровно и лениво постукивало.

- Ложи-ись!

Все повалились. Я тоже, придерживая ящик, чтоб не грохнуть его о землю.

Слева, над немецкой стороной, поползла вверх ракета.

Она поднялась высоко, качнулась, будто раздумывая, и повисла на парашютике, медленно снижаясь и потрескивая. Белый, ровный, мертвенный свет пополз по земле, вытягивая из травы длинные шевелящиеся тени, и всё вокруг стало плоским, как переводная картинка в книжке.

Я лежал щекой в траве и смотрел вбок, вдоль грунта.

И увидел.

Метрах в пятнадцати от нас, в примятой траве, тянулись ровными парами бугорки. Свежая земля, чуть темнее старой, уже подсыхая сверху корочкой. Ряд, второй, третий - уходили в темноту в шахматном порядке, аккуратно и правильно, как грядки под лук.

То самое поле, что ставили третьего дня.

А мы шли к нему в тридцати шагах и вели за собой цепочку из девяти человек с ящиками на плечах.

Ракета догорела, ткнулась в землю и погасла.

Стало черно так, что заломило в глазах и поплыли зелёные пятна.

- Не гляди на неё, - шепнул Гриша, приподнявшись. - Ты в другую сторону гляди, покамест она горит. А то потом полчаса слепой ходишь и в ямы падаешь.

- А ты откуда знаешь?

- Дык мне Данилюк объяснил. Он говорит: гляди себе под локоть и жди. - Он поднялся на четвереньки. - Он много чего знает, Данилюк. Он тебе и про ракету, и про то, как по звуку понять, куда прилетит. Только он неохотно рассказывает, его просить надо.

- Пошли, пошли, не разлёживайся! Не на печи!

Мы поднялись и пошли.

Работать начали сразу за кустами.

Сержант Гурьев - я его в ту ночь толком и не разглядел, а слышал лишь только голос, простуженный и злой, - разматал шнур. Обычный пеньковый шнур с узелками через каждый метр, серый, разломаченный, с привязанной на конце деревянной чуркой.

- Так, слушать сюда, - распорядился он, приседая и растягивая шнур на два колышка. - Первый ряд - от чурки. Шаг полтора, как всегда, я мерить не пойду, я вам верю. Второй ряд через восемь, третий и четвёртый - так же. Кто напортачит - сам ночью и пойдёт исправлять, я никого посылать не стану.

- Иваныч, а сколько нам?

- Четыреста на отделение.

- Дык это ж...

- Это ж четыреста, - отрезал Гурьев. - И не ной, Федя. Я в мае одну ночь пятьсот двадцать делал, и не помер, как видишь.

Отделение растянулось вдоль шнура цепочкой.

Дальше пошло то, что здесь называлось работой.

Я стоял в тридцати метрах позади, у штабеля, и подавал.

А заодно смотрел.

Смотреть в темноте оказалось занятием отдельным и по-своему занимательным. Глаз обвыкся минут за двадцать, и мир проявился заново - не цветом, а движением: где шевельнулось, там человек, где не шевелится, там куст или ящик.

Далеко впереди, за нейтралкой, лежала немецкая сторона.

Оттуда изредка постреливали - короткими, по три-четыре патрона. Трассеры уходили высоко, в белый свет как в копейку, без цели. Дежурный пулемётчик отбывал свою вахту и, судя по всему, тоже хотел спать.

Ещё оттуда время от времени доносился звук - далёкий, невнятный, вроде как что-то тащат по деревянному настилу. И один раз, совершенно отчётливо, застучал движок, поработал минуты две и заглох.

- Ерофей Ильич, - окликнул кто-то из темноты. - Слышь, у них движок работал.

- Слышал.

- Это чего у них?

- А это у них, Федя, либо помпа, либо пилорама, - не поворачиваясь, отозвался старшина.

- Ежели помпа, стало быть, блиндажи копают глубокие и воду откачивают. Ежели пилорама, стало быть, накат в три слоя кладут.

- И чего это значит?

- А значит это, что они тут не в гости приехали.

Первые минут пять я честно думал, что чего-то не понимаю по неопытности. Что есть какой-то порядок, которого мне просто не видно отсюда, из темноты, за спинами. Что сейчас, вот-вот, проявится система - я просто ещё не разобрался, я тут первый день.

Потом перестал так думать.

Работали они быстро. Очень быстро.

Человек шёл вдоль шнура, приседал, тремя движениями ножа выбирал лунку, ставил, засыпал, приминал ладонью и двигался дальше. На каждую уходило меньше минуты. Иногда - секунд сорок.

И это, если по-честному, было настоящее мастерство. Я бы так не смог. Я бы вообще так не смог - ни тогда, ни через два месяца, ни через год.

Только между собой они при этом разговаривали.

- Сколько у тебя?

- Восемнадцать.

- Мало-о. У меня двадцать две.

- Дык у тебя земля мягкая, а у меня каменная. Я тут копнул - а там плита какая-то. Не то фундамент, не то чёрт-те что. Тут, видать, до войны сарай стоял.

- Ты копай, а не рассуждай. Рассуждать он будет. Гурьев придёт - он тебе порассуждает, он тебе такую лекцию прочтёт, что ты плиту эту зубами выгрызешь.

- Да пушай приходит, я ему плиту покажу.

- Тише вы, оглашенные! - зашипел кто-то третий, ближе к нам. - Немца привлечёте! Он и так с вечера постреливает, ему только повод дай - он вам тут такое устроит, что вы про плиту забудете! Вы чего разорались-то, как на базаре?

- Дык не орём мы.

- Не орёт он. Тебя за версту слышать, Федя. Ты когда шепчешь, у тебя громче выходит, чем когда говоришь.

Никто ничего не записывал.

Ни одного человека с планшетом. Ни одной вешки по краю. Ни единого колышка на углу, кроме тех двух, между которыми был натянут шнур.

А шнур сматывают и унесут.

К штабелю подошёл ещё один - за ящиками, - и, пока укладывал верёвочные ручки на плечо, привалился к штабелю передохнуть.

Немолодой, лет тридцати пяти, с обвисшими книзу щеками и мокрым от пота лбом.

- Данилюк, - представился он сам, разглядев меня в темноте. - Ты, что ль, Ковалёв? Который нынче контузился?

- Я.

- Ну, живи, - он перевёл дух. - Слышь, а верно говорят, что ты ничего не помнишь?

- Кусками.

- Эх, - вздохнул Данилюк с искренней завистью и сел на ящик. - Мне бы так. Я бы, ей-богу, полжизни отдал, чтоб кусками. У меня, знаешь, память как у бабы: всё держит и ничего не выпускает. Я до сих помню, какой у нас в сороковом году урожай был, и кто у нас на свадьбе чего сказал, и кто мне восемь рублей должен и не вернул.

Он полез за кисетом, вспомнил, что нельзя, и сунул обратно.

- И плохое всё помню, - прибавил он тише. - Вот это хуже всего. Я, Ковалёв, лица помню. Всех, кто с сорок первого через меня прошёл. Я их иногда ночью перебираю, как бабка чётки, и не могу остановиться, покамест не дойду до последнего.

- И сколько их?

- А я тебе не скажу. - Он поднялся и подхватил ящики. - Я это число никому не говорю, даже старшине. Я, ежели его вслух назову, вовсе спать перестану.

Он сделал два шага и обернулся:

- Ты, слышь, у Витюхи много не спрашивай. Он мужик-то неплохой, только у него брат в сорок первом под Минском остался, и он с тех сам не свой. Его лучше переждать, как дождик.

Я поставил ящик и подошёл к Панкратову.

Он сидел на корточках чуть в стороне, у самого кустарника, привалившись плечом к тонкому стволу, и просто слушал ночь. Он вообще, я потом заметил, всегда так сидел - немного отдельно от всех, лицом в сторону противника, как старая сторожевая собака, которая уже не бегают, но слышит лучше молодых.

- Товарищ старшина.

- М-м?

- А кто карточку ведёт?

Он повернул голову. В темноте я видел только тёмный силуэт и мокрый блеск глаз.

- Чего-о?

- Карточку минного поля. Формуляр. Кто-то же должен привязку писать - где начало, где ряды, сколько чего, какой шаг, где обходили.

Панкратов помолчал, и молчал он неприятно долго.

- Взводный пишет, - обронил он наконец. - Утром.

- Утром?

- Ну а когда ж ему. Придём, он чаю попьёт, отдышится - и напишет. У него планшет есть, у него всё как положено.

- По памяти?

- По своей, - отозвался старшина. - По чужой не напишешь.

Я присел рядом с ним на корточки.

Помолчал секунд десять, подбирая слова, и всё равно не подобрал ни одного подходящего.

- Товарищ старшина. А ежели его завтра убьёт?

Панкратов повернулся ко мне всем корпусом.

Медленно, тяжело, как поворачиваются пожилые люди, у которых уже болит поясница и которым каждое движение стоит отдельного решения.

- Ты вот что, - проговорил он очень спокойно. - Ты ящики носи.

- Я ношу.

- Носи и молчи.

- Товарищ старшина, я ж не спорить...

- Ковалёв.

Голос у него не поднялся ни на полтона. Он даже стал тише.

- Через две недели, - заговорил Панкратов, - а может, и раньше, по этому полю пойдут наши танки. И проходы в нём делать будем мы. Вот этими самыми руками, в темноте, вслепую. Я это, парень, знаю не хуже твоего. Я ещё в мае, когда мы первое поле ставили, взводному про это и сказал.

- И что он?

- А то. - Старшина отвернулся и стал глядеть в темноту. - А то, что комбату надо две тыщи за ночь. И не абы каких, а по плану, с отчётом, чтоб к восьми утра сводка ушла. И у комбата над головой тоже кто-то сидит и в ухо ему дышит, и тому в ухо тоже дышат, и так до самой Москвы.

Он поскрёб щетину.

- Хочешь - сходи объясни ему про формуляр. Он тебе в ответ объяснит, куда идти и с какой скоростью. Слова подберёт такие, что ты их запомнишь и детям расскажешь.

Он снова стал слушать ночь.

- Носи, - обронил он через минуту. - Витюха идёт.

Я взял ящик и пошёл.

Хлыстов перехватил меня на полдороге. Встал поперёк, уперев руки в бока, и стал разглядывать с явным удовольствием.

- Ты чего это к старшине бегаешь? Жалуешься?

- Спрашиваю.

- Спрашивает он, - протянул Витюха с наслаждением, растягивая слова. - Ишь ты. Спрашивальщик у нас выискался. А ты, Ковалёв, тут сколько? Три недели? Три недели, стало быть. Ты покамест никто и звать тебя никак, ноль без палочки. У нас тут люди по году ходят и то не спрашивают, а он спрашивает.

- Понял.

- Ни хрена ты не понял, я по глазам вижу, - он придвинулся, и от него шибануло махоркой и луком. - А будешь дальше умный такой - я тебя на шуп поставлю. Впереди пойдёшь, первым номером. Хочешь на шуп, а?

- Хочу.

Витюха аж поперхнулся.

- Чего-о?

- На шуп хочу, - повторил я и перехватил ящик. - Только не сегодня. Сегодня не могу.

- Это чего ж так?

- Матчасти не знаю.

Он постоял, покрутил головой, пошевелил губами, подбирая, что бы такое ответить.

Ничего не подобралось.

- Порченный, - выговорил он наконец и пошёл прочь, бормоча себе под нос про контуженных, которых надо в тыл списывать, а не во взвод пихать, и про то, что он это старшине непременно доложит, вот только руки дойдут.

Гриша, работавший ближе всех к штабелю, тихонько фыркнул в темноте.

- Ты чего с ним так-то? - зашептал он, подобравшись ближе. - Он же тебя теперь сгноит. Он злопамятный до жути, он Мохову за одно слово месяц житья не давал: и в наряд, и на кухню, и ящики самые тяжёлые.

- Не сгноит.

- Сгноит, Петь! Ты его не знаешь, а я знаю.

- Гриш.

- А?

- Ты сколько нынче поставил?

Он даже приосанился.

- Двадцать две. Я быстро.

- А где они?

Гриша замолчал.

Молчал долго - я слышал в темноте, как он сопит и переминается с ноги на ногу.

- Ну... - выдавил он наконец. - Тут они. Вон там где-то, правее. Я от чурки шёл, потом вдоль шнура.

- Покажи.

- Дык темно же!

- А утром покажешь?

- Утром покажу, - подумал он. - Утром, поди, покажу. Ежели шнур не снимут.

- А шнур снимут.

Гриша долго не отвечал.

- Снимут, - согласился он тихо.

И тут слева рвануло.

Не громко. Совсем не громко - на удивление тупо и коротко, будто кто-то с размаху хлопнул пыльным одеялом о забор.

Но у меня внутри всё оборвалось раньше, чем дошёл звук, потому что глаз успел поймать вспышку: низкую, короткую, у самой земли, без всякого столба.

Секунда полной тишины.

А потом закричали.

Кричал человек, и кричал он так, как кричат в первые тридцать секунд, - на одной высокой ноте, без слов, без пауз, потому что слова приходят позже, а сейчас у него внутри просто открылся клапан и выходит воздух.

- Кто это?! - заорал Гурьев откуда-то из темноты. - Кто?! Считаться по номерам! Быстро!

- Первый!

- Второй!

- Не наши это, не наши! Соседи!

- Второй взвод это, ихние! Они правее работали!

- Санитара! Санита-ара сюда!

Люди побежали. Затопали, зашуршали, кто-то уронил лопату и выругался, кто-то крикнул «стой, куда!».

Я тоже рванул - на голос, вдоль кустов - и успел сделать шагов пять.

Потом меня взяли за шиворот и швырнуло назад с такой силой, что я сел на землю и прикусил язык.

Надо мной стоял Панкратов.

- Куда, - обронил он.

Без вопросительного знака.

- Там раненый! Там...

- Знаю.

- Так дойти же надо! Он же кричит!

- Куда пойти?

Он присел передо мной на корточки и взял меня за плечи. Пальцы у него оказались железные, как клещи, - я потом два дня ходил с синяками.

- Ты слушай меня, - заговорил он тихо, раздельно, чуть встряхивая на каждом слове. - Слушай и не рыпайся, а то я тебя свяжу, и мне за это ничего не будет. Он на поле. На нашем. На том самом, которое второй взвод третьего дня ставил и которое никто не мерил, не писал и на бумагу не клал.

Я перестал дышать.

- Понял теперь? - спросил старшина. - Понял или ещё раз объяснить?

- Понял.

- Нету туда дороги. Ни мне, ни тебе, ни санитару, ни господу богу. Покамест рассветёт да покамест шупом проведут - час пройдёт. А то и два.

Он отпустил меня и выпрямился, покряхтев.

Человек на поле кричал.

Он кричал уже иначе - с перерывами, набирая воздух между приступами, и в этих промежутках было слышно, как совсем рядом, в трёх метрах от нас, в мокрой от росы траве трещит ночной кузнечик, которому решительно всё равно.

Кто-то из соседей орал через поле:

- Мишка! Мишка, слышишь?! Лежи, не двигайся! Мы идём, мы уже идём!

- Не ори, - глухо посоветовали ему из темноты. - Не ори, дурак. Ты ему хуже делаешь.

Он тебя услышит и вставать начнёт.

- Дык что ж мне, молчать?!

- Молчать. И не обещай ему, чего не можешь.

Через кусты, ломая их и не разбирая дороги, к нам пробрался человек.

Сержант - я разглядел лычки, когда он присел рядом. Молодой, лет двадцати пяти, и его трясло так, что было слышно, как стучит по бляхе ремня пряжка планшета.

- Ерофей Ильич! Ерофей Ильич, у тебя шуп есть?

- Один.

- Дай!

- Не дам, - отозвался Панкратов, не поднимаясь.

- Ты чего?! - Сержант схватил его за плечо. - Ты чего говоришь-то?! Там человек! Там Мишка Востриков, ему двадцать один год, у него мать одна!

- Стёпа, - старшина мягко снял его руку с плеча и подержал в своей. - Стёпа, погоди. Ты дыши сперва. Дыши, а потом говори.

- Да чего мне дышать!

- Ты дыши, - повторил Панкратов. - Раз, два. Раз, два. Вот так. Теперь скажи мне: ты поле своё знаешь?

Сержант замолчал.

- Знаю, - выговорил он через силу. - Оно ж моё. Я его сам ставил.

- Где начало?

- От... - Он завертел головой. - От той стороны. Там колышек был, мы от колышка.

- Колышек стоит?

- Не знаю.

- А ряды где?

- Четыре ряда. Через восемь.

- От чего восемь? - голос у старшины остался ровным, и от этой ровности становилось только хуже. - От первого ряда или от шнура?

- От... - сержант осёкся. - От шнура. Или от ряда. Ерофей Ильич, я не помню!

- Вот, - обронил Панкратов. - Вот, Стёпа. А ты хочешь по нему ночью пойти.

Сержант сел на землю и обхватил голову руками.

- Так что ж делать-то, - проговорил он в колени. - Что ж делать-то, а? Он ведь помрёт.

- Помрёт, - согласился старшина. - Или не помрёт, ежели жгут сам наложит. Я вон в феврале видал, как один себе сам наложил и до утра дотерпел, и ничего, жив.

- А ежели не наложит?

Панкратов долго не отвечал.

- Тогда ты его утром вынесешь, - обронил он наконец. - И похоронишь. И бумагу напишешь. И будешь потом всю жизнь помнить, что колышек не поставил.

Он полез за кисетом и на этот раз всё-таки достал.

- Я тебе, Стёпа, не в укор говорю. Я тебе на будущее говорю, потому что у тебя будущее ещё есть, а у него, может, и нету. Ты завтра колышки вбей. Слышишь? Не сводку пиши, а колышки вбей и на бумажке нарисуй, где они. Хоть на портянке нарисуй, хоть углём на доске.

Сержант поднялся и, ничего не ответив, ушёл обратно через кусты.

Я сидел на земле.

И считал.

Не разрывы. Считал секунды между его вдохами - так делают, когда прикидывают, сколько человеку осталось, и когда очень хочется занять голову чем угодно, лишь бы она не думала главного.

А главное было простое.

Их всех уже убило.

Всё отделение, весь взвод, весь батальон - они просто ещё ходят, дышат, спорят из-за плиты в земле и подначивают друг друга насчёт того, кто громче шепчет. Просто дата ещё не подошла.

Через две недели их погонят на эти самые поля снимать то, чего никто никогда не записывал. И они пойдут - потому что прикажут и потому что больше некому. И половина не вернётся. И это спишут на войну, и все согласятся, что на войне иначе не бывает.

Панкратов рядом закурил, пряча огонёк в рукав. На секунду высветилось его лицо.

Лицо было мокрое.

- Ерофей Ильич! - окликнул из темноты Гурьев. - А работать-то дальше?

- Дальше.

- Дык люди... Иваныч, они ж слушают. Они ж все стоят и слушают.

- Потому и дальше, - отозвался старшина. - Ты их сейчас распустишь - они до рассвета так и простоят. Оно им хуже. Пуцай руки заняты.

Гурьев помолчал.

- Твоя правда, - согласился он и ушёл к шнуру.

И через минуту оттуда донёсся его простуженный голос, нарочито будничным, будто ничего и не случилось:

- Так, разобрались! Второй ряд начинаем! Федя, ты где? Федя, чтоб я тебя видел и слышал! Шаг полтора, не жаться, а то у нас поле не поле выйдет, а грядка с редиской!

И они пошли работать.

Я слушал, как позади, в тридцати метрах, начинается тот же самый шорох, те же три коротких удара ножом, тот же шлепок ладонью по засыпанной лунке.

Работали молча. За всё оставшееся время никто ни разу не заговорил ни про плиту, ни про то, у кого сколько, ни про Федю, который громко шепчет.

- Товарищ старшина.

- Ну?

- У нас щуп есть?

- Один. У Гурьева.

- Дайте.

- Ковалёв, ты...

- Дайте щуп, - повторил я и поднялся.

Крик впереди захлебнулся и перешёл в тонкое подвывание сквозь зубы.

- Ковалёв, назад! Кому говорю! Ковалёв!

Я взял щуп.

Глава 4

Щуп оказался тяжелее, чем я думал.

Обыкновенный стальной пруток метра в полтора, с деревянной ручкой, обмотанной чёрной изоляцией в три слоя и залоснившейся от рук до блеска. Весил он как приличный лом. Наконечник был сточен на конус, и заточка на нём стояла не острая, а скруглённая, тупенькая.

Им работали много. И работал кто-то, кто знал, как надо: спил ровный, без единого заусенца.

- Ковалёв!! Ты куда?! Ты куда, я тебя спрашиваю?!

Гурьев подскочил сбоку и вцепился мне в предплечье двумя руками.

- Отдай! Отдай, тебе говорю, это имущество! Это на отделение один, за него мне отвечать!

Ты хоть знаешь, сколько я его выпрашивал?! Я его в мае у соседей выменял на два кисета и мешок сухарей!

- Иваныч,пусти.

- Не отпускай! Ты сдурел, что ль? Ты соображаешь, куда лезешь? Там же...

- Иваныч.

Он замолчал, но не разжал руки. Я слышал, как он часто и мелко дышит через нос.

- Ерофей Ильич! - крикнул он в темноту, не отпуская меня. - Ерофей Ильич, ты хоть скажи ему! Он же щуп забрал и на поле лезет!

Панкратов молчал.

Он стоял в двух шагах, я его видел - тёмный, приземистый, с опущенными руками, - и он молчал.

И вот его молчание было громче всего остального, вместе взятого: и Гурьева, и того крика впереди, и кузнечиков.

Он мог остановить. Он был на голову ниже меня, но пальцы у него железные, и если бы он захотел, я бы никуда не пошёл, и мы оба это понимали совершенно отчётливо.

Он не захотел.

Гурьев подождал ответа, не дождался и разжал пальцы.

- Ну и чёрт с тобой, - выговорил он с досадой. - Ну и лезь. Только щуп верни, слышишь? Хоть щуп верни, ежели сам не вернёшься.

Я перешагнул через шнур и опустился на колени.

Первое, что нужно сделать, когда идёшь на поле, - перестать спешить.

Звучит как глупость. Особенно когда впереди в темноте воет человек, а за спиной стоит десяток людей и смотрит тебе в затылок. Но это единственное, что имеет хоть какое-то значение, и знаю я это не по книжкам и не по наставлениям.

Спешащий сапёр никого не спасает. Спешащий сапёр становится вторым раненым, и тогда уже двое лежат и воют в разных концах поля, и никто ни к кому не идёт, и всё заканчивается тем, что утром выходят с носилками и собирают обоих.

Я закрыл глаза.

Сосчитал до трёх - медленно, как считают, когда ждут гром после молнии и хотят узнать, далеко ли.

Открыл.

- Гриша.

- А? - Он сидел на корточках у самых кустов, белый в темноте, как гриб-поганка.

- Ты со мной не пойдёшь.

- Дык я...

- Не пойдёшь, - отрезал я. - Ты мне тут нужен, и нужен больше, чем там. Слушай внимательно. Ты становишься вот на это самое место, вот сюда, где я стою, и не сходишь с него никуда.

- А зачем?

- Затем, что мне надо будет вернуться. И вернуться не абы куда, а точно сюда, в эту точку. Ты - точка. Я по тебе иду обратно, понял?

Гриша открыл рот. Подумал. Закрыв.

- А ежели Витюха меня погонит?

- Не пойдёшь.

- А ежели Гурьев?

- И Гурьев не в счёт. Ежели кто погонит - скажешь: Ковалёв велел стоять. Скажешь, что я приду и спрошу.

- А ежели немец бить начнёт?

- Ляжешь. Но с места не сдвинешься, а как перестанет - встанешь обратно, ровно туда же. Понял меня?

Он потоптался, поправил пилотку и вдруг вытянулся по стойке смирно, чего от него совершенно никто не требовал.

- Понял, - выговорил он звонко. - Стою и не сдвигаюсь.

- Только не ори про это на весь фронт.

- Ага, - прошептал он и втянул голову в плечи.

Хороший был мальчишка.

Он тогда, я думаю, вообще ничего не понял из моих объяснений - просто встал где велено и простоял там два с половиной часа, не шелохнувшись.

Я поставил шуп под углом и толкнул.

Земля пошла легко. Верхний слой, пересохший, в палец толщиной, поддался с лёгким хрустом, а под ним стало мягче и влажнее. Наконечник вошёл на ладонь.

Я вынул, сдвинул руку на четыре пальца вправо и толкнул снова.

Легко.

Ещё раз.

Легко.

И на третьем тычке меня накрыло по-настоящему.

Сильнее, чем от вида собственной чужой руки. Сильнее, чем от красноармейской книжки с чужим именем и от девочки с бантами на фотографии.

Потому что я не знал, что я ищу.

Три года. Я за три года вытащил из земли столько всякого, что перестал считать ещё на первом. Я знал на ощупь, через полтора метра стали, разницу между кирпичом и корпусом. Знал, как отдаёт в кисть бетон - коротко и звонко, будто щёлкнули ногтем по стеклу. Как жёсть - сухо и мелко. Как пластик - мягко и тупо, будто ткнул в сырую резину, и от этого последнего ощущения у меня до сих пор сводло запястье, стоило только вспомнить.

А тут в земле лежало дерево.

Дощатые коробочки в жёлтых опилках. Я их видел вечером в ящике, я одну держал в руках, пока таскал, - и понятия не имел, как она отзовется на шуп.

Дерево в грунте - это корень. Это старая доска. Это сучок, обломок черенка, кусок плетня, обгорелая жердь, вбитый когда-то и забытый колышек.

Значит, работать придётся не на «нашёл», а на «всё, что не земля, - это оно».

Медленнее раз в пять.

Ладно. Ладно, будем медленнее, некуда деваться.

- Э-эй!.. - донеслось спереди. - Э-э-эй, кто-нибу-удь... Ребя-ата...

Он уже не кричал. Он звал.

- Иду! - отозвался я громко, в полный голос, потому что шёпот тут не годился. - Слышишь? Иду к тебе! Ты лежи и не шевелись, ни рукой, ни ногой, ни головой!

- Быстрее-ей... Быстрее, братцы, я не могу больше...

- Не быстрее. Иду медленно. Лежи и жди.

Наверное, это прозвучало жестоко.

Но человеку на минном поле нельзя врать про «сейчас, потерпи, уже бегу». Он начинает ждать по секундам. Он считает - сперва до десяти, потом до пятидесяти, потом сбивается и начинает сначала, - и когда его секунды кончаются, а никто не приходит, он встаёт.

А вставать ему нельзя ни в коем случае.

Ему надо знать чистую правду: к нему идут медленно и придут обязательно.

- Как звать тебя? - окликнул я, работая.

Пауза.

- Ко... Кондратенко.

- А по имени?

- Мишка.

- Миша, я Пётр. Ковалёв Пётр, сапёр я, из первого взвода. Я к тебе иду, и я дойду, ты про это не сомневайся. А ты сейчас будешь мне рассказывать, ладно?

- Чего рассказывать-то?

- Что видишь. Что слышишь. Всё подряд, хоть какую чепуху.

- Дык не вижу я ничего, я лицом лежу...

- Вот и рассказывай, чего не видишь.

Он помолчал, соображая, и начал.

Сбивчиво, глотая половину слов, перескакивая с одного на другое, - но начал, и говорил, а не выл, и это уже была половина дела.

Рассказывал, что не видит звёзд, потому что лежит лицом в траву и повернуться боится. Что трава высокая, гуще, чем казалось днём, и в ней что-то ползает и шуршит совсем рядом, и он думает, что это, наверно, лягушка, а может, и мышь. Что сапог с правой ноги слетел и он не понимает куда и как это вышло. Что у него в кармане письмо от сестры, недописанное, он вчера начал отвечать и не успел.

- Миша.

- А?

- Что с ногами?

- Не знаю... Левой, кажись, нету. Я её не чувствую.

- Кровь идёт?

- Мокро.

- Сильно мокро? Под тобой лужа или так, просто мокро?

- Да не знаю я! - сорвался он и заплакал в голос, вздохнул. - Не знаю я, я щупать боюсь! Я как пошевелюсь - думаю, вторая рванёт! Я тут лежу и думаю, что подо мной ещё одна, а я на ней!

- Тихо. Тихо, тихо, Миша. Слушай меня, вот сейчас слушай внимательно. Под тобой ничего нет.

- Откуда ты знаешь?!

- Оттуда, что она бы уже сработала. Ты на неё лёг, и весь твой вес на ней, и она молчит. Значит, под тобой чисто.

Он затих, соображая.

- Верно, - выговорил он через полминуты, уже другим голосом. - Верно ведь.

- Верно. Теперь дальше. Ремень на тебе?

- Ага.

- Расстегни. Просто расстегни, и всё. Больше ничего не делай, руками вниз не тянись, ноги не трогай. Понял?

Он завозился в траве.

- Расстегнул.

- Умница. Всё, лежи и жди.

Я работал.

Тычок, сдвиг, тычок. Через каждые полметра - левую руку назад, ощупью, проверить, ровно ли иду.

Это был мой единственный способ не уклониться. Без вешек, без света, ночью человек всегда уводит себя влево по дуге - так уж мы устроены, - и через тридцать метров оказывается в двадцати в стороне от того места, куда собирался.

На восьмом метре щуп упёрся.

Твёрдо и коротко.

Я замер.

Есть такая секунда. Она у всех разная по длине, но она есть у каждого, кто этим занимается. Ты уже понял, что упёрся, - и ещё не понял, во что. И в эту секунду в голове наступает абсолютная, стерильная, звенящая тишина: ни мыслей, ни страха, ни звуков.

Я очень осторожно вынул щуп и полез пальцами.

Обвёл. Ещё обвёл.

Камень.

Обыкновенный булыжник с кулак величиной, круглый, гладкий. Я выковырял его, обтёр о штанину и положил справа от полосы - не бросил, а именно положил, потому что бросать в темноте нельзя ни при каких обстоятельствах.

И пополз дальше.

Сердце колотилось а во рту стоял медный вкус.

- Пе-еть! - донеслось сзади громким отчаянным шёпотом. - Петь, ты живой?!

Гриша. Стоял, где велено.

- Живой! Стой на месте!

- Стою-у! Я стою, я не сдвигаюсь!

За спиной, у кустов, заворочались, забубнили. Кто-то громко, на весь фронт, объявил: «Совсем сдурел парень». Кто-то другой ответил ему коротко и зло, и я узнал голос Панкратова, но слов не разобрал.

Потом сзади зашуршало.

Кто-то полз по моему следу.

- Стой! - обронил я, не оборачиваясь. - Кто?

- Барсукова. Санинструктор.

Голос был девичий, спокойный и слегка запыхавшийся.

- Назад.

- Не пойду.

- Назад, я сказал.

- Слушай, ты бы вместо того, чтоб командовать, лучше бы полз, - отозвалась она рассудительно, будто мы стояли в очереди за кипятком. - У меня жгут, промедол и бинты. У тебя нет ничего, кроме этой твоей палки. Ты его дотащишь без жгута, а он по дороге кончится, и ты потом будешь всю жизнь думать, что успел бы, ежели б я не послушалась. Так что ползи и не задерживай, у него там час, а мы тут дискутируем.

Я всё-таки обернулся.

Она лежала метрах в четырёх позади, в моей полосе. И лежала правильно - плашмя, на локтях, не растопыриваясь, ноги вместе, сумка сдвинута на спину, чтобы не мешала и не цепляла грунт.

Кто-то её этому научил. Или дошла своим умом, что случается ещё реже.

- Как звать? - спросил я.

- Женя.

- Женя, слушай сюда. Ты сейчас не двигаешься, пока я не скажу. Держишься ровно за мной, шаг в шаг, не левее и не правее ни на ладонь. Ежели я говорю «стой» - ты встала. Не спрашиваешь, не рассуждаешь, не уточняешь и не выясняешь, почему.

Она помолчала.

- Стою и не рассуждаю, - повторила послушно. И тут же прибавила: - Ты всегда такой ласковый или это ты для меня специально постарался?

- Всегда.

- Ну, хоть честно. А то у нас тут один был, тоже командовал, а как до дела дошло - сам первый и побежал.

Дальше мы поползли вдвоём.

Оставшиеся двенадцать метров заняли минут сорок.

Дважды я упирался.

Первый раз - в корень. Толстый, старый, лежавший поперёк полосы ровно так, как лежала бы она сама, и я разгребал вокруг него добрых пять минут, обдирая ногти о суглинок, пока не убедился окончательно и не пошёл дальше.

Второй раз - не в корень.

Щуп вошёл на две трети и стал.

Я подождал.

Потом положил щуп рядом, аккуратно, вдоль, и полез руками. Голыми пальцами, снимая землю по щепотке, сверху вниз, вокруг, никогда - на самоё.

Пальцы нащупали дерево.

Плоское. С ровным краем. С углом.

Я лежал носом в мокрую траву и очень долго дышал ртом.

Оно было точно такое, как в ящике. Я даже вспомнил, как днём смахнул с крышки жёлтые опилки и подумал: до чего же простая вещь, до смешного простая, дощечки да чека.

Простая.

Двести граммов в дощатой коробке - а под крышкой ещё та штука с усиками, которую здешние ставят на ощупь, в темноте, за полминуты, и делают это лучше, чем я когда-нибудь научусь.

Я убрал руки. Медленно, назад, будто отодвигал от себя горячее.

- Женя.

- Да.

- Отползи на два метра. Прямо назад, по следу, не разворачиваясь.

- Что там?

- Отползла.

Она отползла - я услышал шорох и как звякнула о что-то сумка.

Я взял щуп и очень осторожно, издалека, под самым пологим углом проверил слева от находки. На ладонь. Ещё на ладонь. Ещё.

Пусто. Пусто. Пусто.

Значит, обходим слева.

Я загнул полосу в сторону, и на это ушло ещё минут десять, потому что уйти в сторону легко, а вернуться на прежнее направление в темноте - это отдельное искусство, которому нигде не учат и которое каждый осваивает сам.

Потом трава впереди зашевелилась, и я увидел сапог.

- Миша.

- Ы-ы.

- Не шевелись. Я рядом. Всё, брат, я рядом, кончилось твоё ожидание.

Он лежал на боку, подтянув правую ногу к животу. Левой ниже колена не было.

Ночью такие вещи видно плохо, и в этом есть своё милосердие.

Женя подползла и, ни о чём не спрашивая, вжикнула застёжкой сумки. Дальше минуты три работала она, а я держал Кондратенко за плечи и говорил ему в ухо всякую ерунду.

Про то, что дома у меня собака. Что зовут её Найда, что она рыжая, глупая и жрёт хозяйские тапки, и что я ей три раза покупал ошейник, и она все три сгрызла, а четвёртый потеряла в реке.

Никакой собаки у Петьки Ковалёва, разумеется, не было. У Сергея Тихонова, если уж на то пошло, тоже.

Но человеку в такую минуту нужен не факт. Ему нужен голос, который говорит про тапки.

- Готово, - выдохнула Женя. - Жгут наложила, укол сделала. Час у него, не больше, и то ежели не растрясём.

- Час хватит.

- Ты его как потащишь-то? Он же тяжёлый, он же с меня двоих.

Я поднял голову и посмотрел назад.

Восемь метров - там, где корень. Двенадцать - где я обходил. И дальше двадцать, которых я уже не увижу, потому что след затянуло травой, а роса легла и всё сгладила.

- Женя, отрежь мне бинта. Метра три. И ножницы дай.

- Зачем?

- Не рассуждай.

- Я и не рассуждаю, - отозвалась она. - Я интересуюсь. Это разные вещи.

И сунула мне моток и ножницы.

Я сел на пятки - первый раз за час поднялся выше локтей, и в глазах поплыли красные круги, - и стал рвать бинт на короткие полоски. Штук двадцать получилось.

Потом стянул с левой ноги обмотку - ту самую, которую утром намотал мне Гриша в четыре оборота.

Обмотка - это два с половиной метра плотной суконной ленты. Я разрезал её поперёк, и вышло ещё полтора десятка кусков.

- Ты что делаешь? - тихо спросила Женя.

- Метки ставлю.

- Какие метки?

- Белые. Чтоб видно было.

Ползком назад, по своему следу, через каждые два-три метра - колышек из подобранной сухой хворостины или просто пучок травы, перехваченный полоской бинта.

Белое в темноте видно. Не отлично, а еле-еле - но видно, если знаешь, куда смотреть.

Дошёл до кустов. Развернулся. Пополз обратно.

Потом мы тащили Кондратенко.

Про это я рассказывать особо не буду. Двадцать метров, полтора часа, двое волокут третьего на плащ-палатке по полосе шириной в семьдесят сантиметров, и каждый метр надо проверять заново, потому что тело шире человека и вылезает за края.

Один раз он захрипел и стал вырываться, и Женя, не поднимая головы, врезала ему по щеке - коротко, ладонью, - и он утих.

- Нельзя ему, - обронила она, ловя мой взгляд. - Ежели он дёргаться начнёт, жгут поедет.

Когда мы выползли к кустам, небо на востоке было уже не чёрное, а серое, и я различал лица.

Гриша стоял на своём месте.

Он простоял там всё это время, не сходя ни на шаг, и когда я его увидел, у него дрожали ноги - так дрожали, что штанины ходили ходуном.

- Пришёл, - выговорил он и почему-то улыбнулся во весь рот. - Я стоял. Я, Петь, всё время стоял, я даже не садился. Витюха два раза подходил, гнал, а я говорю: Ковалёв велел.

- А он что?

- А он сказал, что мы оба порченые.

Кондратенко унесли.

Женя ушла с ним, оглянувшись один раз - коротко, без всякого выражения, будто про- верила, стою ли я ещё.

А я сел на землю и стал разглядывать свои руки.

Пальцы были в крови из-под ногтей, и они мелко тряслись, и это была нормальная, штат- ная, законная дрожь, которая приходит только после и никогда - во время.

- Встать, - велели надо мной.

Лейтенант Бабичев был очень молодой.

Года двадцать два, не больше. Тонкая мальчишеская шея, торчащая из воротника гим- настёрки, и злые от бессонницы глаза с красными веками.

Я поднялся.

- Фамилия.

- Красноармеец Ковалёв.

- Кто разрешил?

- Никто, товарищ лейтенант.

- Кто разрешил выйти на минное поле? - Он повысил голос и тут же сорвался на хрип, закашлялся и вытер губы. - Кто, я спрашиваю? Старшина? Сержант? Кто?

- Никто. Сам пошёл.

Он ждал оправданий.

Я это видел совершенно отчётливо: он приготовился их выслушать и разбить в пух и прах, у него уже были заготовлены слова про то, что тут не самодеятельность и не гражданка, - и эти слова теперь висели в воздухе без всякого применения.

- Щуп чей брал?

- Сержанта Гурьева.

- Гурьев дал?

- Не давал. Я взял.

- Имущество попортил, товарищ лейтенант! - влез сбоку Хлыстов с нескрываемым удо- вольствием. - Обмотку срезал. Казённую обмотку на тряпки распустил, я лично видел, я вон и обрезки собрал, ежели надо предъявить.

- Срезал, - подтвердил я.

Бабичев опустил глаза на мою босую по щиколотку ногу в ботинке без обмотки.

Потом очень медленно перевёл взгляд на поле.

Там, в сером предутреннем свете, теперь была отчётливо видна тонкая пунктирная дорожка из белых тряпочек. Она уходила в траву, аккуратно загибалась дугой на восьмом метре, выпрямлялась и кончалась там, где трава была примята и разворошена.

Он смотрел на неё долго. Дольше, чем требовалось для того, чтобы просто посмотреть.

- Двое суток наряда вне очереди, - обронил он наконец. - За самовольство.

- Есть двое суток.

- Ещё раз без приказа шагнёшь - под трибунал пойдёшь. И я тебя не пожалею, ты не думай. Понял меня?

- Понял.

- Свободен.

Он повернулся и пошёл. На ходу оглянулся ещё раз - не на меня.

На поле.

Хлыстов задержался.

Постоял, посопел, потом придвинулся и заговорил почти доверительно, будто мы с ним старые приятели и он мне сейчас по секрету откроет важное:

- Ну ты и дура-ак, Ковалёв. Ты хоть понял, чего сделал?

- Понял.

- Ни хрена ты не понял, потому что ежели б понял, ты б не лазил. - Он оглянулся на уходящего Бабичева и понизил голос. - Второй взвод - не наш взвод. Кондратенко - не наш человек. Ихний ротный завтра отпишет наверх, что, дескать, своих не бросил, героизм проявил, и себе в отчёт вставит. А нам за то, что в чужую полосу лазаем, выговор влепят. Вот и вся тебе благодарность, вот и весь сказ.

- Пускай.

- «Пу-ускай», - передразнил он тоненько. - Тьфу.

И ушёл, сплюнув себе под ноги.

Наряд я отбывал на кухне.

Чистил картошку, и было это, надо сказать, чистое наслаждение: сидишь на ящике под навесом, руки заняты, голова свободна, над головой брезент, и никто в тебя не стреляет.

За эти двое суток я узнал о батальоне больше, чем за предыдущие три недели Петькиной жизни.

Узнал от Матвея Кузьмича, который разговаривал не переставая и которому было решительно всё равно, слушают его или нет. Именно то, что требовалось.

- Ты картоху-то не строгай, - выговаривал он, гремя черпаком. - Ты её тонше бери, тонше. У тебя вон в очистках полкартошки уходит, а нам её на двести рыл. Двести, понял? А в апреле было двести восемьдесят.

- А куда семьдесят делись?

- А куда они деваются, милок. - Он вздохнул и переставил ведро. - Кто в санбат, кто в землю. Немец из них, я так считаю, взял хорошо ежели двадцать. Ну двадцать пять, ежели с мартом считать.

- А остальных?

- А остальных работа взяла.

Он произнёс это буднично, как говорят «дождик пошёл».

- Работа, милок, она хуже немца, - продолжал он, налегая на нож. - Немец в тебя стрельнёт и промахнётся. Он далеко, он в темноте, он тебя не видит. А работа не промахивается, потому что она у тебя под руками и глядит тебе в лицо.

Он поскрёб щетину тыльной стороной кисти.

- Мы тут с конца мая стоим. Комбат наш, Зотов, уже третий раз по шапке получил за отставание. Ему сверху графики спускают, а по тем графикам работать нельзя, потому что там сроки не человечески. А он спорить не станет.

- Почему?

- А потому, что он мужик служивый. Он двадцать лет служит и знает: ежели ты наверх скажешь «не могу», то тебя заменят на того, кто скажет «могу». И через месяц вместо Зотова будет какой-нибудь Пупкин, и он вам таких графиков навешает, что вы Зотова со свечкой вспоминать станете.

Он глянул на меня одним глазом.

- Не выполнить, милок, - это уже не арифметика. Не выполнить - это уже нежелание. Понял разницу?

Я понял.

Ещё узнал, что до станции Поныри отсюда шесть километров, что её бомбят через день и что оттуда всю весну идут эшелоны с колючкой, лесом и ящиками.

И ещё узнал, что старшина Панкратов после той ночи не сказал обо мне ни единого слова. Ни хорошего, ни худого. Будто меня и не было.

На третий день, под вечер, ко мне подошёл посыльный.

- Ковалёв? Который Ковалёв? Ты, что ль?

- Я.

- К особисту.

Матвей Кузьмич за котлом перестал греметь черпаком. Совсем. Стало слышно, как под навесом гудит муха.

Я вытер руки о штаны.

- Иди, милоч, - обронил повар мне в спину. - Иди, не заставляй ждать. И вот тебе совет от старого дурака: чего спросит - на то и отвечай. А чего не спросит - про то не рассказывай.

Изба стояла на краю деревни, крайняя от дороги, с целой крышей - редкость по тем временам небывалая.

Внутри было прибрано. Пахло керосином, бумагой и почему-то земляничным мылом. У окна стоял стол, за столом сидел человек и писал.

- Красноармеец Ковалёв по вашему приказанию.

- Проходи. Садись, чего в дверях стоять.

Он не поднял головы.

Я сел на табурет у стены.

Ему было лет тридцать. Худой, гладко выбритый, с очень аккуратным пробором на левую сторону. Гимнастёрка сидела на нём так, будто он в ней родился и вырос. На столе - стопка чистой бумаги, чернильница-непроливайка, две ручки, положенные параллельно краю, и папка, завязанная тесёмками на бантик.

Он дописал строку, промокнул её и аккуратно выровнял ручку.

И только тогда посмотрел на меня.

Глаза оказались обыкновенные, серые, спокойные. Никакого сверления, никакой театральной пронзительности, про которую пишут в книжках.

Он просто смотрел - как смотрит человек, которому по должности положено смотреть на людей внимательно и который занимается этим уже много лет подряд без всякого удовольствия.

- Крутов, - представился он. - Старший лейтенант. Особый отдел.

- Так точно.

- Как рука?

Я растерялся.

- Что?

- Рука, - терпеливо повторил он. - Ты правой всё делаешь, я заметил, как ты дверь открывал. Ногти сорваны, мне отсюда видно. Заживает или гноится?

- Заживает.

- Хорошо. Хотя, я так понимаю, в санчасть ты не ходил.

- Не ходил.

- Ясно. - Он положил ладонь на папку, не развязывая. - Значит, так. В ночь на пятнадцатое ты вышел на минное поле второго взвода и вынес оттуда раненого. Верно излагаю?

- Верно.

- Один?

- С санинструктором Барсуковой. Она пошла за мной сама, я её не звал и приказа ей не давал.

- Знаю. - Крутов чуть склонил голову. - Она то же самое говорит. Слово в слово, между прочим, что для двух человек, не сговаривавшихся, встречается нечасто.

Он побарабанил пальцами по столешнице.

- Сколько метров прошёл?

- Сорок с небольшим. С обходом.

- За какое время?

- Часа полтора туда. Обратно дольше, часа два.

- Проверил каждый сантиметр?

- Каждый.

- Как?

Я замолчал.

Вот оно.

Вот тот самый вопрос, которого я ждал с той минуты, как взял в руки щуп, и на который у Петьки Ковалёва из-под Ельца - три недели службы, семь классов, подносчик ящиков - ответа не было и быть не могло.

- Щупом, товарищ старший лейтенант.

- Это я и сам догадался, ты меня совсем-то за дурака не держи. - Крутов откинулся на табурете. - Под каким углом?

- Наклонно. Градусов тридцать-сорок.

- Почему не прямо?

- Потому что прямо - это сверху. А сверху нельзя.

- Через сколько тыкал?

- Через четыре пальца.

- Кто научил?

- Никто.

- Сам додумался?

- Сам.

- За три недели в батальоне, где тебя, по докладу сержанта Гурьева, дальше подноски ящиков не допускали ни разу. Ни единого. - Он говорил ровно, без всякого нажима, будто зачитывал сводку погоды на завтра. - И где щуп, между прочим, один на отделение, и Гурьев его никому в руки не даёт, потому что выменял его на два кисета и мешок сухарей.

Я молчал.

- Ковалёв, - обронил он вдруг совсем иначе, мягче. - Я тебя ни в чём не обвиняю. Ты вот это, пожалуйста, заметь и запомни на будущее. Ты вынес человека - это хорошо, это по-нашему, я это в рапорте отметил особо. Я о другом.

Он придвинул чистый лист.

Положил рядом ручку - ровно, параллельно.

Развернул чернильницу горлышком ко мне.

- Ты мне сейчас напишешь всё, что делал в ту ночь. По порядку, с самого начала: как вышли, куда шли, кто где стоял, что ты услышал, что сделал.

- Есть.

- Не спеша пиши. Подробно. Мелочей не пропускай, мелочи меня как раз и интересуют больше всего прочего.

- Есть.

- И вот ещё что.

Он поднялся, прошёл к окну и встал там, заложив руки за спину и глядя на улицу, где кто-то гнал корову и негромко на неё покрикивал.

- В твоём личном деле, - проговорил он в стекло, - лежит заявление, которое ты писал в военкомате в Ельце в сентябре сорок второго. Своей собственной рукой.

Пауза.

- Пиши, Ковалёв.

Я взял ручку.

Она была деревянная, крашенная в жёлтый, со стальным пёрышком, и держал я её в руке первый раз в жизни.

Глава 5

Перо цеплялось за бумагу и брызгало.

Я вывел «Я, красноармеец Ковалёв» - и остановился, потому что буквы вышли не те.

Крупные, ломаные, с наклоном не в ту сторону. Так пишет человек, который последние пятнадцать лет тыкал в клавиатуру двумя пальцами, а от руки заполнял разве что графу «подпись» да поздравительную открытку матери на Восьмое марта.

Петька Ковалёв, семь классов елецкой школы, писал бы совсем иначе. Мельче, с нажимом на волосяных, с завитушками, которым учили по прописям, где на каждой странице сверху шёл образец, а снизу ты должен был двадцать раз повторить.

Я посмотрел на своё «Я, красноармеец» и подумал, что ежели Крутов сравнит это с елецким заявлением, то у нас с ним получится долгий и интересный разговор.

А потом посмотрел на свои пальцы.

Три ногтя на правой были сорваны до мяса и уже начали чернеть по краям. Указательный распух так, что не сгибался в последнем суставе, и от него по кисти шло что-то горячее.

И я почувствовал то, что в приличном обществе назвали бы облегчением, а по-простому - то самое, что чувствует школьник, у которого ко дню контрольной поднялась температура.

- Товарищ старший лейтенант.

Крутов стоял у окна не оборачиваясь.

- Пиши.

- Не могу.

Вот теперь он обернулся.

Я молча поднял руку и повернул ладонью к свету.

Он подошёл, взял меня за запястье - без всякой резкости, аккуратно, тремя пальцами, как берёт фельдшер, - повернул к лампе и осмотрел. Потрогал распухший сустав.

Я дёрнулся, и дёрнулся, надо сказать, вполне искренне.

- Земля?

- Земля.

- Промывал?

- Некогда было.

- Некогда, - повторил Крутов и отпустил руку. - Всем некогда. У нас тут в мае один боец три дня ходил с занозой и говорил, что некогда. Ему потом два пальца отняли, и стало сразу очень когда, и он с тех сидит в писарях и всем эту историю рассказывает, и правильно делает.

Он вернулся к столу, сел и взял мой лист. Долго разглядывал четыре слова, поворачивая бумагу так и этак, будто искал водяные знаки.

- Криво, - резюмировал он.

- Так точно.

- Совсем криво, Ковалёв. Я, знаешь, за войну много всякого почерка перевидал, но такого не встречал. У тебя буквы как забор после обстрела.

- Пальцы не держат, товарищ старший лейтенант.

Он положил лист, разгладил ладонью и посмотрел на меня.

И я понял про старшего лейтенанта Крутова одну важную вещь, которая мне потом много раз помогала и ровно столько же раз мешала.

Он не поверил.

Совершенно точно не поверил. Это было видно по глазам. И при этом не собирался на этом настаивать. Просто взял этот факт, повертел и положил куда-то себе внутрь. На полочку, к другим таким же.

- Ладно, - он придвинул чистый лист к себе. - Рассказывай устно, я запишу. Только уговор: я пишу, что слышу. Ежели я чего не так понял - поправляй сразу, не жди, пока допишу до конца.

Он писал минут сорок.

Быстро, ровным мелким почерком, переспрашивая только по существу: где стоял, куда шёл, сколько прошёл, что нашёл, как обозначал, кто где находился и что говорил.

Когда я дошёл до бинта и обмотки, он остановил перо на полуслове.

- Повтори-ка.

- Резал на полоски и вязал на траву. Через два-три метра.

- Зачем?

- Чтобы вернуться по своему следу. И чтобы кто-нибудь прошёл после меня, ежели меня там положат.

Крутов положил ручку.

Аккуратно, вдоль края.

- То есть ты, - проговорил он медленно, - пока полз к раненому по чужому минному полю, в темноте, - думал не о том, как самому оттуда выбраться, а о том, кто пойдёт после тебя.

Я пожал плечами.

- Так положено.

- Кем положено?

Молчание вышло долгим. В окно было слышно, как во дворе кто-то отчитывает ездового за нечищеную лошадь и как ездовой в ответ рассказывает, что лошадь у него не какая-нибудь, а с сорок первого года.

- Не знаю, товарищ старший лейтенант, - выговорил я наконец. - Просто положено, и всё.

Он посмотрел на меня ещё секунды три, вздохнул, дописал строку и придвинул лист.

- Подпись поставить сможешь? Или пальцы тоже не держат?

- Смогу.

Я расписался.

Коряво, кривой закорючкой. И, честно говоря, понятия не имел, похожа ли она хоть отдалённо на ту, что лежала у него в папке под тесёмками, - а спросить было решительно невозможно.

Крутов посмотрел на закорючку.

И ничего не сказал.

- Иди, - обронил он вместо этого. - В санчасть зайди. Скажешь - я направил, пусть посмотрят как следует и не отпускаяют, покамест не обработают.

- Есть.

Я был уже у двери, когда он окликнул:

- Ковалёв.

- Я.

- Ты в санчасть зайди обязательно. Не для галочки и не потому, что я велел.

Он снова смотрел в свои бумаги.

- От столбняка люди помирают глупее, чем от мины, - прибавил он. - А ты, судя по всему, батальону ещё пригодишься.

Санчасть помещалась в погребе - том самом, что при хате Дарьи Егоровны, с земляными ступеньками и дощатой дверью на кожаных петлях.

Женя сидела на ящике и перебирала бинты - стиранные, серые, скатанные в неровные рулончики.

Увидела меня, кивнула на табурет, взяла руку, посмотрела на палец и произнесла одно слово, которое девушкам говорить не полагается, а санинструкторам, судя по всему, полагается вполне.

- Сам виноват, - прибавила она уже нормально. - Двое суток ходил, да? Ты вообще соображаешь, что у тебя тут делается?

- Соображаю.

- Ни капли ты не соображаешь, а то бы пришёл сразу. У тебя тут уже дёргает, я по лицу вижу. - Она полезла в сумку и стала выкладывать на чистую тряпицу пузырьки. - Терпи. Больно будет. Очень.

Она не соврала.

Я сидел молча, стиснув зубы, потому что орать при девушке девятнадцатилетнему Петьке Ковалёву было стыдно, а тридцатичетырёхлетнему Сергею Тихонову - тем более.

Хотя, если по совести, орать хотелось обоим, и я не уверен, кому больше.

- Терпишь, - заметила она через некоторое время.

- Терплю.

- Кондратенко не терпел. Он у меня всю дорогу до медсанбата голосил как оглашенный, а на подводе ещё и санитаров матом крыл, и меня заодно. Хороший, кстати, мужик, я на него не в обиде.

- Он живой?

- Живой. Отправили дальше, в тыл, в Елец. Без ноги, зато живой, - она затянула узел и обрезала концы. - Он про тебя спрашивал.

- И что?

- Ничего. Спрашивал, как звать того, кто пришёл. Я сказала: Ковалёв Петька, сапёр, тощий такой, вредный и командовать любит.

- Спасибо.

- Не за что, я правду говорю, - она стала укладывать пузырьки обратно. - Он просил передать. Дословно так: скажи ему, что я долг не забуду и что ежели он в Елец попадёт, то пусть спросит Кондратенко, их там всякий знает.

- Хорошо, - кивнул я в ответ.

- Передала, - девушка кивнула ответ, будто бы отчитываясь перед кем-то.

Она защёлкнула сумку и вдруг посмотрела на меня прямо.

- Ковалёв, а ты чего вообще полез?

- Человек кричал.

- Он у нас в мае двое суток кричал, - произнесла Женя. - Двое суток, вон там, за той рощей. И никто не полез, и я не полезла, потому что мне сказали - нельзя, и это была правда, нельзя было. Я его до сих пор слышу.

Она поднялась и закинула сумку на плечо.

- Так что я не про то спрашиваю, почему ты человека спасал. Я спрашиваю, почему ты его спас, а не лёг рядом. Потому что все, кто до тебя лазил, ложились.

- Я медленно шёл.

- Медленно, - повторила она. - Ну-ну, - добавила Женя и ушла, стукнув дверью.

Панкратов нашёл меня вечером, за кухней, где я домывал последний котёл.

Пришёл, сел рядом на перевёрнутый ящик, достал кисет и стал сворачивать самокрутку - медленно, обстоятельно, как делают люди, которым надо чем-то занять руки перед трудным разговором.

Я мыл.

- Я тебя видел, - старшина смерил меня изучающим взглядом.

- Когда?

- Всю ночь.

Он лизнул край бумажки и прижал.

- Я, Ковалёв, с той минуты, как ты щуп взял, с места не сходил. Стоял в кустах и глядел. Курить хотел до смерти - и то не курил, потому что огонёк.

Он прикурил, прикрывая ладонью.

- А как светать начало, я твою дорожку разглядел всю. От первого метра до последнего. Тряпочки твои белые.

Он затянулся и выпустил дым в сторону.

- Ты на восьмом метре камень выкинул. Я видал, куда положил. Справа от полосы, ровнёнхонько, будто по линейке.

- Так надо.

- Знаю, что надо. - Он повернул ко мне голову. - Я это знаю. Я, парень, на Днепрострое семь лет отработал, я там скалу рвал, когда тебя ещё на свете не было. Я и на финской побывал, и в сорок первом под Черниговом мосты валил, отходя, и не по одному. Мне про камень справа рассказывать не надо.

Он помолчал.

- Я - знаю. А ты откуда?

Вот и всё. Второй раз за один день.

Я поставил котёл, вытер руки о фартук и сел на землю, привалившись спиной к тележному колесу.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.